

Николай Климонтович



ПРОЗА
non-fiction

Николай Климонтович

Проза non-fiction

«Издательство «Перо»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Климонтович Н. Ю.

Проза non-fiction / Н. Ю. Климонтович — «Издательство «Перо»,
2026

ISBN 978-5-00270-864-2

Эта книга должна была бы выйти лет двадцать назад, когда многие из тех, кто на фотографиях, с нетерпением ждали выхода очередного номера «Независимой газеты» с новой статьей Николая Климонтовича. Тем не менее, друзьям Климонтовича, и не только им, будет, надеемся, даже интереснее посмотреть на эти статьи сегодня. Вот что писал умный и внимательный критик Павел Басинский о Николае Климонтовиче: «Живой, талантливый человек, грешный, но не циничный, чуточку одинокий, чуточку избалованный вниманием друзей, не гений, но занимавший в литературе свое и только свое место...» Книга состоит из небольших статей, посвященных «стилю жизни» тех дней, и очерков о местах, людях и событиях, особенно интересных и привлекательных для автора. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00270-864-2

© Климонтович Н. Ю., 2026
© «Издательство «Перо», 2026

Содержание

Вместо предисловия	6
Из «Стиля жизни» в «Независимой газете»	8
2002	8
Газета и поза	8
У.е. как деликатная форма патриотизма	9
Минус повод	11
Вам с сахаром и с молоком?	13
Не едем мы, друзья	14
Новое московское рыцарство	16
Гименей, на выход	17
О вечном возвращении	18
Заповедник писателей	20
Дни волнения и упокоения	21
2003	24
Твидовый пиджак, трусы и галстук	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Николай Климонтович

Проза non-fiction

Николай Климонтович
(1951–2015)

Составитель: Криштоф Елена Михайловна



© Климонтович Н.Ю., 2026

Вместо предисловия

Дневник писателя, или Гонзо-журналистика по-русски

В этом году юбилей (какое всё-таки страшное слово!) Николая Климонтовича (17.04.1951–04.06.2015). Если бы дожил – отметил бы на всю катушку. Так, как делал всё: жил, любил, да, пил... И писал замечательную прозу («Дорога в Рим», «Последняя газета:». «Далее – везде...: Записки нестрогого юноши», «Спич», «Мы, значит, армяне, а вы на гобое» и др.), пьесы с невероятной драматургической напряженностью («Мама, это не ты подожгла лес», «Снег. Недалеко от тюрьмы», «Русские едут как во сне», «Карамазовы и Ад» и др.)

И еще одна его ипостась – эффектные выступления на территории гонзо-журналистики.

Гонзо – зародившийся в США вид журналистики, при котором субъективность важнее объективности, а свой, сугубо индивидуальный стиль – главное условие осуществления. Но всё это работает, только если автор – личность, и перо ему послушно, как в случае с Климонтовичем. Можно даже торжественно объявить, что именно он, Николай Климонтович, стоит у истоков русского гонзо.

В 2002 году я позвала его в колумнисты «Стиля жизни» «Независимой газеты». И не ошиблась! Каждый вторник выходил его текст. Образ автора, встававший с страниц этих текстов, – ироничный умный, несколько утомлённый жизнью циник (в хорошем смысле слова!). В какой мере он совпадал с образом реального Климонтовича – отдельный вопрос. Скажем так: реальный Климонтович был проще.

Он писал для «Независимой» четыре года, с 2002-го по 2006-й. Сегодня, в 2026-м, перечитывая его «стили жизни», видно, что они не только классно исполнены, но и актуальны, хоть снова публикуй в газете! Вот, например: *«Проблема «ехать – не ехать» стояла у нас не только перед евреями. Более того, перед евреями она стояла, быть может, менее остро, чем перед русскими: у первых хотя бы было – куда. Русским же, собственно говоря, было ехать некуда – никакого тебе Синая и Иерихона. <...> Можно подтрунивать над этим стремлением, но никак нельзя отделаться от мысли, что эта русская тоска по Европе – одна из основ русской души. Тема «заграничности» в русской культуре почти сакральна, ее нельзя затрагивать всуе... <...> Извечная несвобода русского человека делала повседневной, как у замученного мужа, спасительную мечту о Побеге».*

Он удивлялся: *«На растяжке поперек Садового читаем: «Мы любим Россию». Кто «мы»? Мэрия? Водители авто? Торговцы? А если я не люблю? Попробуй скажи это вслух нынче-то».* Сокрушался: *«Отчетливо слышна поступь победно возвращающегося стиля тотальной усредненности и принудительной глупости. Испаряется дух свободной игры – вместо него стихия склоки и скандала. Так и не сложившееся общественное мнение снова подмигивало доносом».*

Он писал об упадке Переделкина, об изменах и разводах, о вульгарности теле-шоу и духовной аристократии... Писал о власти (резюмируя рассуждения о Ленине): *«Великими становятся те, кто не обременен бюргерскими добродетелями. Крови больше или меньше, но всегда не ниже колена, предательств всегда по уши, с дьяволом – на короткой ноге».* Воистину так!

Его портреты современников оригинальны и – убедительны, будь то Лимонов или Синявский, Владимир Кормер или Анатолий Якобсон...

А вот как красочно он описывает месяц своего рождения – апрель: *«Начинается месяц безумств и сердечных ошибок, дежурства по нему, как пел Окуджава, авитаминоза, вздохов, непредусмотренных влюбленностей и непредотвращенных беременностей, калоши и ночных слез».*

В этом апреле мы отметим его 75-летие. Без него. Но плакать не будем. Будем вспоминать, пить весёлое вино, смеяться и – читать вот эту его книгу. Такую необычную, ироничную и такую пронзительную.

Виктория Шохина

Из «Стиля жизни» в «Независимой газете»

2002

Газета и поза

Все метафоры кажутся слабыми, когда поутру смотришь на лоток с нашей текущей прессой где-нибудь в центре Москвы: одно слово – пир духа. Даже в нью-йоркском киоске, где торгуют добропорядочными изданиями вроде «Вашингтон пост», а «Плейбой» стыдливо таится под боковым стеклом, разнообразия, кажется, меньше. Бум, лавина, большой взрыв – все звучит бледно.

Разумеется, у главных редакторов множество новых проблем. Прежде всего, как сделать газету привлекательной, покупаемой, в идеале – популярной.

Здесь есть в принципе только два подхода. Скажем, один редактор призывал меня писать для нашего читателя так, чтобы тот не трудился, не продирался сквозь текст, не спотыкался на незнакомых словах. Эту свою чрезвычайную мысль редактор повторил раз десять и твердил на разные лады, искренне полагая, видимо, что только таким способом, предлагая уже переваренную пищу, можно завоевать популярность.

Есть подход противоположный. Он основывается на тезисе, что читатель в массе своей вовсе не хочет, чтобы его держали за идиота, хочет именно трудиться, потому как любое чтение – всегда труд. То есть и самый «простой» читатель будет читать красивое, но непонятное с большим воодушевлением, чем пресное и повседневно очевидное.

Так или иначе, при той или иной концепции создания газеты и ее подачи в одном сходятся все – правые, левые, блюстители нравственности и издатели бульварных листков: газету следует издавать, чтоб читателю было поучительно и не скучно. Иначе говоря, для того, чтобы ее читали. При всей внешней простоте и убедительности это тезис весьма сомнительный. Потому что газеты существуют отнюдь не только и даже не столько для чтения.

Вы замечали, что если в квартире днем включено радио – его не слушают? Но включают. Телевизор показывает в гостиной, но хозяйка занята на кухне. На стенах висят картины, но их редко разглядывают. Книжки почти никогда не достают с полок. И есть еще множество предметов, которые нас окружают, но крайне редко используются по назначению. И газеты в этом ряду – важнейший компонент фона повседневной жизни, потому что они ежедневны.

Газета в доме – род домашней утвари, газета в дороге – предмет из несесера, в ряду с расческой или носовым платком. Газета – это одна из самых распространенных наших повседневных привычек. Поэтому на первый план должен выходить вопрос, не кто будет читать и не что будет читать, а как и где. Самое удивительное, что об этом-то редакторы думают в последнюю очередь.

Редактор, делающий свою газету, первым делом должен бы задумываться о позе читателя. Удивительно, но не известны скульптуры, читающие газету. Мыслитель – пожалуйста, флиртующий – сколько угодно. А между тем – какое разнообразие. Ведь есть поза читающего газету за утренним кофе, есть другая – для метро, третья – для дивана под звуки телевизора.

При тематическом разнообразии вовсе не издаются специализированные газеты, скажем, для чтения в ванной комнате. А ведь для тех, кто просматривает газеты, лежа в ванне, сущее мучение уронить выскользнувший внутренний лист прямо в воду, лишившись, таким образом, скажем, новостей культуры, которые всегда внутри, – ведь размокший газетный лист уже

неудобочитаем. Так что для таких пловцов хороша глянцевая бумага, еще лучше – со слоем парафина.

В кресле держать газету удобнее одним способом, а за едой, подоткнув под нее сахарницу, – другим, а значит, газетный лист уже должен складываться иначе, и это вопрос формата.

То же относится и к шрифту: в сортире темнее, чем в шезлонге. Есть гарнитуры – размеры шрифта – для солнечного дня, есть для торшерной подсветки. Близоруким хорошо, скажем, шрифт тайм нью роман, тогда как люди со зрением стопроцентным легко глотают и курьер... Короче, газета, как любой предмет повседневного обихода, должна быть уютна.

Все это может показаться лишь шуткой, а между тем дело обстоит весьма серьезно для всего института прессы. Именно в связи с возможностью удобной позы читателя решится в будущем вопрос, умрет ли газета под давлением телевидения и интернета или выживет. Интернет не проведешь в туалетную комнату, телевизор неудобен, когда ты лежишь в гамаке. В нашем переполненном городском транспорте лишь молодежь ухитряется, нацепив наушники, слушать что-то по плееру. У солидного человека, следящего за мировой политикой и сплетнями в околоспортивном мире, выбора нет: только утренняя газета, невероятным, почти акробатическим способом читаемая над плечом соседки в вагоне метро по пути на работу, только «Вечерка» по пути обратно. Мне могут возразить, что есть другие альтернативы: скажем, автолюбитель слушает авторadio и тоже в курсе последних событий. Но если вы бывали за рулем, то знаете, что нет большей радости после рабочего дня выключить наконец зажигание, оставить машину у себя под окнами, дома влезть в тапочки и халат, налить стаканчик виски и – лечь на диван с газетой. И это единственно возможная поза релаксации после трудового дня. И газета для нее столь же необходима, как сам диван...

Ориентация того или иного издания на ту или иную позу читателя, вообще говоря, важнее его политического направления. Причем можно предположить, что если изложенные выше соображения будут взяты издателями на вооружение, то вскоре возникнут – назовем их так – общественные объединения различных поз. И каждое – со своим печатным органом. Это, конечно, не сможет предотвратить известного недопонимания приверженцами одной позы приверженцев другой, но все-таки ослабит межпартийную напряженность. Консенсус в стране окажется более достижимым.

Будем надеяться на лучшее: рано или поздно в нашем обществе, так и не нашедшем ни одной общенациональной идеи, возобладает тем не менее одна-единственная объединяющая разные слои общества поза.

У.е. как деликатная форма патриотизма

В «Лолите» есть такая сцена. Гумберт Гумберт живет в парижском пансионе для эмигрантов и замечает, что его сосед, русский офицер, никогда не спускает за собою воду в общем сортире. И герой понимает, что делает это, точнее – не делает этого, сосед из деликатности: при отличной звукопроницаемости водопад низвергающейся воды был бы слышен всем остальным постояльцам. Наверное, Набоков немало потерпел от этой русской застенчивости, которую отчего-то принято считать интеллигентностью. Как же верно подмечено: если уж говорить о загадках русской души, то прежде другого – именно об этой таинственной русской застенчивости и немыслимой деликатности!

Вот вам пример из области, тоже связанной с золотом. Понятно, что слово «рубль» произносить вслух в российском обществе как-то неудобно: все-таки национальная валюта, получится нескромно. Кроме того, мы же совсем недавно по историческим меркам вообще научились без краски на щеках говорить о деньгах, не иудеи же, не протестанты. Но сходство есть:

правоверный еврей тоже не может написать Бог, но только застенчивое Б-г, ибо господа нельзя называть по имени. А как же сказать: слово, скажем, «евро», тоже употреблять не с руки, непатриотично и обидно: они, значит, евро, а мы, значит, нет. Поэтому принято говорить эвфемистично: такая-то вещь или такая-то услуга стоит столько-то у. е. То бишь – условных единиц. Здесь более всего замечательно, конечно, не «единиц», но как раз их условность. Как бы намек на будущий реванш национальной валюты, как бы вера в устойчивость русского мира вопреки условному постоянству мира противоположного, как бы апелляция к незыблемости национального небесного Иерусалима. Русский язык, действительное и реальное русское достояние, как всегда, не подводит. Но, думаю, пройдет не одна минута, прежде чем вы растолкуете американцу, что под у. е. имеются в виду его родные баксы.

Неудобно русскому человеку многое, если не все.

Один бывалый зэк взялся растолковывать мне заметку из криминальной хроники. Я хотел понять, отчего, ворвавшись в квартиру с целью ограбления, преступник безо всякого смысла зарубил топором маленького мальчика, который один и был в это время в квартире и никакого сопротивления оказать не мог. «От растерянности», – объяснил мне рецидивист. То есть от того же чувства неловкости. От растерянности, не иначе, – ведь других видимых причин нет, – у нас падают самолеты, взрывается бытовой газ, расстреливают конкурентов, отменяют результаты уже состоявшихся выборов, гоняют туда-сюда по горам вооруженных боевиков, не поражают известные цели, не забывая при этом подторговывать нефтью в деловом партнерстве с противником, не сообщают родственникам истинных причин катастроф на подводных лодках, приведших к мучительной гибели их близких, меняют конституции под конкретных президентов, телевидение дураковато, депутаты глупы и косноязычны. Называется это – демократия. Я бы уточнил: застенчивая демократия. Или, скажем иначе, демократия деликатности.

Еще один пример – так сказать, механизм застенчивости в действии. Неприступная цитадель нравственности, средоточие всех мыслимых человеческих совершенств – кремлевская администрация объявила поход против порнографии в литературе. Из природной застенчивости делает она все не своими руками: была придумана замечательная организация «Идущие вместе», нынешняя форма былых комсомольских оперативных отрядов. Тех самых, что в разгар хрущевской оттепели отлавливали на улицах стилиг, обрезали им цветные галстуки и насильно стригли неправильно причесанных девушек, а в брежневские времена собирали дань со студентов, пытающихся проникнуть в общежитие к своим возлюбленным. Все это оперативные отрядовцы творили, понятно, из робости.

Так вот, эти самые идущие нынче выбрали объектом приложения своей заоблачной моральности не стриптиз-клубы, не сауны, оборудованные под бордели, даже не проститутки, которые, надо думать, с удовольствием наблюдали на Тверской за их акциями, но – книги. Отметим, как неслыханно скакнула духовность ревнителей наших отечественных незамаранных нравственных ценностей, какой оттенок эстетизма появился в деле погрома: все-таки разорять незаконный притон – дело более хлопотное, чем книжки жечь, можно и пулю схлопотать, неудобно.

Здесь еще то интересно, что жертвой очередного прилива национальной застенчивости выбран не какой-нибудь графоман, автор бульварных порнографических книжонок, от каких ломится любой уличный лоток, а писатель с мировым именем Владимир Сорокин. Что ж, в России ни имя, ни заслуги не защитят нас от праведного гнева восставших застенчивых масс.

Несколько лет назад для «Общей газеты» я написал очерк о провинциальном городке Осташков. Приехав туда после двухлетнего перерыва, я был потрясен, до какой степени разрухи доведен этот очаровательный, рачительными купцами некогда выстроенный северный городок. Вскоре я получил присланный на адрес редакции объемный пакет. В нем были вырезки из прессы, из которых следовало, что в Осташковском районе развернута кампания

против очернителя, то есть – меня. Местная газета, дав подборку цитат, потом что ни номер печатала письма возмущенных осташей.

Мне повезло. Руки разгневанного, уязвленного, идущего строем народа до меня не могли дотянуться. Но кто ж заставлял их, этих простых Иванов и Марий, писать в газету постыдную и очевидную неправду, попутно оскорбляя неизвестного им человека? Объяснение одно – это тоже от русской застенчивости, от превалирования обостренного нравственного чувства над созидательным порывом. Ведь если бы те средства и силы, что потрачены были на обличительную кампанию против заезжего столичного литератора, пустить, скажем, на субботник, то – кто знает – городок стал бы чуть более обжитым. К слову, от тех же застенчивости и деликатности мой дом в деревне вскорости пограбили и сожгли.

В пользу этой теории тотальной деликатности говорит и тот факт, что любая травля и любой погром у нас в стране анонимны. То есть тот, кого травят, назван и персонально заклеен, те же, которые идут, идут вместе, то есть безымянно, а назваться – стесняются. А мы-то думали, что все эти штуки – доносы, погромы, травли одного, пусть и неправого, но названного, целой, пусть и правой, но безымянной сворой, – канули в Лету вместе с коммунистическим прошлым. Куда там, у, е-е!

Минус повод

Недавно в Москве открылся новый книжный магазин под названием «Фаланстер». Вокруг этого события заранее шли пересуды. Говорили, в магазине будет представлена литература исключительно экстремистского толка, как левого, так и правого. Что предприятие, дескать, движется невидимыми миру усилиями сидельца Эдуарда Лимонова. Оставалось только удивляться, откуда возьмется столько «экстремистской» литературы, чтобы забить целый магазин.

Как все пряные слухи, и этот оказался несостоятельным. В книжной лавочке в Большом Козихинском представлена литература на взыскательный вкус: по истории, философии, искусству, а также беллетристика, среди которой и книги Лимонова. По-видимому, поводом для слухов стал тот факт, что один из хозяев – Алексей Цветков был некогда шеф-редактором газеты «Лимонка».

Есть, впрочем, и кое-какие атрибуты, указывающие на неполную обоснованность слухов: муляж Калашникова на месте одного из плафонов, плакат с ликом Лимонова при входе. Но в конце концов, будь эти милые люди хоть троцкистами, хоть мормонами, лишь бы хорошо понимали в своем деле. Никто ведь не спрашивает у владельцев «Библио-Глобуса» об их политических пристрастиях и партийной принадлежности. Пока не спрашивает.

А завтра могут и спросить. И одним из поводов так думать является идущий сейчас в Саратове закрытый процесс над писателем и политиком Эдуардом Лимоновым...

Я впервые прочел «Это я, Эдичка» в рукописной копии – той самой, четвертой, что брала «Эрика», – в мастерской художника Толи Брусиловского, харьковчанина, как и Лимонов, году в 1979-м. Тогда Лимонов еще обретался в Америке и жил – как явствует из второй его книги «Дневник неудачника» – на содержании дамы-house-keeper богатого дома. Но вскоре книга была напечатана, и автор стал знаменит. В Москве Лимонов сделался культурным героем: подпольный поэт в СССР, бунтарь в США, покоритель Парижа в духе известного тогда лишь из самиздата автора «Тропика Рака». Как складывалась последующая судьба Лимонова – можно узнать из его же книг, и прежде других из «Анатомии героя», написанной лет через десять после возвращения на родину.

В давнем романе герой был эмигрантом-неудачником, в последней книге предстает «всемирно известным» писателем и, что даже важнее, «суровым самураем», солдатом, вождем. Но

если он и солдат, то – неведомой армии. Автор нигде не уточняет, какого рожна ему нужно, скажем, в Боснии, где на передовой он проводит месяц-другой, или в Абхазии. Он прибывает туда как корреспондент – репортажи приводятся. Но в отличие от Ремарка, Хемингуэя или Оруэлла в полном смысле слова солдатом Лимонов никогда не был, но очень хочет, чтобы его принимали именно за Солдата. Камуфляж, в котором он щеголяет, не маскирует, однако, его бутафорскую роль: герой – ряженный, он лишь играет в войну. В какой-то момент он сам это понимает: «Я устал от чужих войн, мне нужна собственная война». «Своя война» – это внутрироссийская политика. И вот после двадцатилетней эмиграции герой возвращается на родину – «воевать».

Страницы, посвященные политике, забавны, поучительны и грустны. Первым делом на родине герой, бунтарь, обличитель либеральных ценностей и осквернитель западных могил, пытается войти в доверие к лидерам левого крыла. Но союз не задается: Зюганов оказался «подлецом и трусом», Жириновский – «плагиатором и приспособленцем, Баркашов – «мещанином». Герою, преданному соратниками и не понятому народом (он дважды безуспешно баллотировался в Думу), ничего не оставалось, как по примеру Ильича строить собственную партию и завести собственную «Искру». Но какую идеологию пользоваться? Здесь начинается самое интересное. Бог наделил героя литературным даром – самого себя он иначе как «гением» не рекомендует, – незаурядной волей и живучестью, он умен, невероятно честолюбив, считает себя аристократом духа: читает Мисиму и Эволю, ему близок дух иерархии и традиции, влечет фашизм муссолини-евской складки, он видит себя избранным, сверхчеловеком. С другой стороны – героическое плебейское происхождение, особенности психофизиологии и, как следствие, ненависть к «буржуазии» заставляют его сочувствовать люмпенам, тем более что деклассированные слои только и могут составить его «электорат». Он – «право-левый», национал-большевик, в его намерение входит сплавить в одном движении крайности радикализма. Со своей потешной партией, комсомольской агитбригадой и фашистской атрибутикой он не в шутку намеревается взять власть в стране...

Декларируемый неконформизм героя носит откровенно эстрадный характер, он – поп-артист жизни, выступающий в стиле «прово» на второразрядных сценах для невзыскательной публики. Остается удивляться, что даже эта публика проявляет достаточно благоразумия, чтобы не бросаться лимоновскому герою в объятия.

Понятно, что автор не бесшабашный гуляка, как его герой, – без повседневной самодисциплины написать так много прозы невозможно. Наконец, Лимонов не понарошку лез под пули, а выдавая себя за политика, рискует, что его примут всерьез. Кажется, он все время искал «не читки», но «полной гибели всерьез». И добился-таки своего – стал политзаключенным и героем политического процесса, в лучших традициях советской охранки закамouflированного под уголовный.

И здесь впору позлорадствовать: ага, доигрался. Но злорадствовать никак не хочется: игра зашла слишком далеко. Не лимоновская игра – государства.

Вспоминается один арест в последние годы советской власти: некий сочинитель написал в повести о том, как эсерка Каплан, вышедшая из психушки, где ее держали шестьдесят лет, оскверняет труп в Мавзолее. Автору инкриминировалось покушение на святыни, указание на то, что в прозрачном саркофаге лежит не сакральная мумия, а всего лишь нарумяненная кукла. Так вот, сегодня Лимонова судят за то же самое – за покушение на святыни. На главную, кажется, святыню, которая осталась у нынешней власти: на святую мумию самой идеи власти. Суд над Лимоновым призван продемонстрировать, что власть – отнюдь не кукольна, но именно что сакральна. Но странно, что удачно воевать ей удастся не с реальными вооруженными врагами, а только с одним-единственным стойким оловянным солдатиком.

Вам с сахаром и с молоком?

Как ни включу телевизор – в нем разговаривают. Причем по разным поводам. Будь то проблема неуплаты алиментов в одной отдельно взятой стране или новгородская иконопись, отличающаяся от московской школы. Называется это всезнание – ток-шоу. Но никакого шоу нет и в помине, если не считать представлением показ десятка лысых, кудрявых, бородатых или бритых, крашенных в рыжий цвет или под блондинку довольно унылых голов, невнятно лепечущих откровенные глупости.

На этот раз по каналу «Культура» шло ток-шоу Виктора Ерофеева под названием «Апокриф» (по-видимому, аллюзия на соответствующую передачу соответствующего культурного канала французского телевидения «Апостроф», посвященную литературе). Помимо ведущего, замечательно, к слову, выглядевшего, было на экране и другое очень знакомое и милое мне лицо – Дмитрий Александрович Пригов. Говорили о насущном: о литературе высокой и низкой, элитарной и массовой, как ни назови. Разговор равно привычный и равно бесплодный. Ну как о том, когда сажать капусту, которую давно все покупают в магазине. Я, помнится, несколько лет назад уже смотрел такую передачу. Там критик Наталья Иванова со всей свойственной ей страстью говорила, что высокая литература – есть! Я с ней и сейчас на всякий случай согласен.

Но это был романтизм. Поскольку мы явно движемся исторически вспять: кто нынче скажет прилюдно с экрана, что Маринина – не Лев Толстой и даже не Виктор Ерофеев? Да никто не скажет. Та же Иванова промолчит. Результат: передо мной интервью Марининой, данное ею «Известиям» на Франкфуртской книжной ярмарке. Озаглавлено оно так: «Западный читатель изучает Россию по моим книгам». Оно конечно, я бы запретил западному читателю изучать мою страну по книгам бывшего советского подполковника милиции, но – руки коротки.

Маринина, не скупясь, перечисляет страны и издательства мира, которые ее издают: две фирмы в Германии, причем весьма известные, одна во Франции (и сразу в твердом переплете, причем только один роман издан в количестве 100000 штук). Италия уже снимает собственный сериал про Каменскую. О бывших наших коллегах по СЭВу и говорить нечего, если нынче к этому бизнесу подтягивается, по словам интервьюируемой, даже Албания, у которой других проблем нет, как только Маринину переводить.

Автору и ведущему «Апокрифа» такую звезду в свою программу, конечно, было не заполучить: чай, давно гуляет по «Апострофу». Пришлось ограничиться Дашковой и Донцовой, одной черненькой, другой беленькой, как ферзи, но еще не совсем дамки по сравнению с более удачливой коллегой, а также Баяном Ширяновым.

Речь прежде другого шла о «криминальном чтиве», и Дашкова-Донцова убедительно доказывали, что оно не только полезно, но и лидирует в мировой литературе. И с этим можно было бы отчасти согласиться, если иметь в виду Эдгара По, Достоевского, Честертона, Умберто Эко, да хоть бы и Конан Дойля, Агату Кристи или Сименона. Но они, что естественно для любого, скажем так, домашнего гения, имели в виду себя.

Ни Ерофеев, ни Пригов не возражали. Ну Ерофееву по чину ведущего и положено быть всячески корректным – прежде всего политически. Дмитрий Александрович же с много умудренным видом нес привычную ахиною, что, мол, и сам воспитывался на массовой культуре, которая, вообще говоря, много слаще так называемой высокой, которая, в свою очередь, еще неизвестно, существует ли вообще, и все в таком духе. Ну понятно, дело концептуальное, к тому ж Пригов на своих захватывающих шоу подчас действительно умеет быть настоящим массовиком-затейником.

Одна из дам, то ли та, то ли другая, которую, видно, достали уже разговоры о всякой там высокой культуре, в полемике высказалась так: мол, мне сразу назначают тираж в 30000 экземпляров, потому что мои книги очень быстро расходятся, я хорошо зарабатываю, а те, кого вовсе не печатают, а если печатают – то их никто не покупает, просто завидуют. А что, не без того, авторы по преимуществу – публика голодная и тщеславная.

Но есть в этом милом аргументе помимо понятной гордости домовитой хозяйки, которая все в дом да в дом, еще и, скажем мягко, беззастенчивость. Причем не просто личная, но жанровая. Представьте себе на секундочку, чтобы, скажем, Андрей Битов (о котором делаются доклады на всех славистских собраниях, защищены десятки диссертаций по обе стороны Атлантики, написаны монографии) публично заявил, что по его книгам на Западе изучают русскую культуру. Причем в его случае это было бы действительно близко к истине. Может, потому и не заявляет – все знают и так?

Эта жанровая, скажем, беззастенчивость масскультуры идет от необходимости громко говорить о себе. Дело в том, что ее родовое в отличие от культуры высокой (каковая, настаиваю, пока еще есть) свойство – безликость. Уверен, если поменять обложки романов Донцовой и Дашковой, никто не заметит подмены. Индивидуальность – первый критерий высокой, не массовой, литературы: свои темы и любимые мысли, свой взгляд, свой язык и стиль. Произнесите где-нибудь в компании вслух словосочетание «стиль Марининой», и это будет, уверяю вас, острота вечера, продаю.

Есть и второй критерий: массовая литература одноразовая, как магазинный пакет. Если ее использовать по природному назначению, то есть читать. Массовые книжонки покупают в дорогу, их оставляют недочитанными в гостиничных номерах – не тащить же, и выбрасывают на помойку даже на даче, если требуется провести уборку. Недаром это называется «бульварной» литературой: то есть не для библиотеки. Ведь дома мы держим те книги, к которым полагаем вернуться: для справки, для цитаты, просто перечитать. Хотел бы я посмотреть на человека, который на необитаемый остров возьмет с собой романы про Бешеного.

Все это так очевидно, что не стоило бы и говорить. Если бы по этому поводу не устраивались публичные дискуссии, если бы уважаемые мною люди не внушали с экранов телевизоров, что Дашкова-Донцова все равно как Томас Манн. Если бы у интеллектуалов не было откровенного умиления перед тем, кто сейчас двинет им в зубы: массы просят, а массы всегда правы.

Виктор Ерофеев закончил свою передачу фразой: «Будем читать все, что нам нравится». Спасибо, я пью без сливок и без сахара. Натуральный.

Не едем мы, друзья

Еще лет десять назад самой расхожей мечтой просвещенных и не очень граждан нашей страны было – уехать. Сегодняшняя молодежь, похоже, сделала обратный выбор – оставаться. Несмотря ни на что. Помните популярный анекдот того, прежнего, времени? Прохожий на улице замечает двух собеседников, подходит и говорит: я, конечно, не знаю, о чем вы здесь спорите, но считаю, что ехать – надо.

Анекдот – еврейский. Вопрос – русский. Проблема «ехать – не ехать» стояла у нас не только перед евреями. Более того, перед евреями она стояла, быть может, менее остро, чем перед русскими: у первых хотя бы было – куда. Русским же, собственно говоря, было ехать некуда – никакого тебе Сина и Иерихона. Позади – Москва. И подмосковные вечера.

Но русским – тоже всегда отчаянно хотелось.

Выразительно об этом – у Короленко в рассказе «Без языка». Да и Митя Карамазов все мечтал увезти свою Грушеньку в Америку. И чеховские «мальчики» пытались сбежать к индейцам. Заметим, мы не найдем ни в какой другой европейской литературе столь выразительных

свидетельств о столь же страстном стремлении, которое «всего сильнее», куда-то прочь. Хотя в пампасы.

Мечта о Европе – метафизична для русского человека. И чрезвычайно серьезна. Сродни мечте жениться. Европа для нас – несостоявшаяся любовь. Помните у Тэффи – дама, вернувшаяся Оттуда, с упоением рассказывает знакомым: у них там Некрополь, в Некрополе Акрополь. Можно подтрунивать над этим стремлением, но никак нельзя отделаться от мысли, что эта русская тоска по Европе – одна из основ русской души. Тема «заграничности» в русской культуре почти сакральна, ее нельзя затрагивать всуе. Это только в советские унылые времена она потеряла высоту и тон, свелась к теме «импорта», то есть американских штанов, чешской сантехники и румынских гарнитуров.

Извечная несвобода русского человека делала повседневной, как у замученного мужа, спасительную мечту о Побеге. Греза о перемене участи вообще свойственна человеку, но человек западного мира мечтает об избавлении от начальника, или от долга, или от жены. Русский человек втайне всегда мечтал избавиться – от родины.

Причем – в этом парадоксальность русскости – русский человек почти наверняка знает, что – не избавится. Хотя бы потому, что родину свою он страстно, до духоты, до перехвата дыхания любит. Любовь к России у нас в России – захватывающая и патетична. И горя нет, что в глубине пафоса таится сомнение: отвечает ли родина нам взаимностью. Короче, мы любим отчизну тревожно и ревниво. Эта ревность несколько комична: нам все кажется, что нашу любовь у нас хотят отнять, в то время как на нее ровным счетом никто не покушается. Этот комплекс свойствен очень маленьким народам. А мы – огромны. Но, как сказал поэт, «чем больше родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей».

В каком-то смысле, учитывая эту нашу беззаветную и безответную любовь, идея эмиграции для нас – суицидальна. Кажется, только русский мог бы сказать, что «дым отечества» ему сладок и приятен. Кто еще будет так истово бить себя в грудь: люблю мамушку! Ни шагу назад. Мы, мол, ни единого удара не отклонили от себя. Объяснить нерусскому человеку, отчего не надо уклоняться от ударов, думаю, крайне затруднительно. Собственно, страсть к жизни и любовь к родине как раз и предполагает всяческие меры самозащиты и предосторожности. И уклонений от уколов и ударов. Для китайцев и ирландцев. Только не для нас с вами.

Все эти соображения и рефлексии совершенно очевидны для любого русского моего поколения. И, кажется, совершенно дики для поколения сегодняшних, скажем, двадцатилетних наших соотечественников.

Прежде другого дика сама альтернатива: «здешнее – тамошнее». Все носят джинсы, жуют попкорн, смотрят «Титаник» – по ту ли сторону океана, по эту ли. Само понятие «не наше» больше не имеет смысла. Нет мечты о том, чтобы жениться на иностранке. Но это детали. В конце концов почти исчезла идея пограничности. Мне трудно вообразить, какими глазами нынешняя юная генерация глядела бы на скульптуру «Пограничник и его собака», уже много лет как выброшенную на задворки ВДНХ. Юным неясно, кто такой Джульбарс, отчего так тревожен «дым в лесу» – речь не о пожарах, – почему надо подозрительно относиться к чужеземцам и уж вовсе невдомек, отчего иностранец в приличных ботинках и клетчатом пиджаке, мирно сидящий возле Патриаршего пруда, конечно же, сам дьявол.

Обо всем этом уже много сказано. Но хочется задать вопрос: а не потеряли ли мы с приобретением открытости мечту? Говоря четче и проще – был ли плод сладок, лишь пока оставался запрещен? И какова оскомина от того, что мы все от него откусили?

В конце концов, речь – о цене свободы и знания. Нынешние молодые живут в открытом мире, что, разумеется, превосходно. Но нам, пережившим все соблазны, прелести и искушения мира закрытого, зачем-то хочется им поведать об этом. Не слушают. Правильно делают.

Меня восхищают нынешние молодые, которые хотят учиться, зарабатывать, путешествовать, видеть и знать. Но при этом – хотят жить в своей собственной стране. В нашей стране.

В которой – ей-богу – трудно, но так интересно. Я аплодирую им. В этом их желании – залог нашего достоинства и процветания. Но что это меня понесло в патетику, мы ведь, ребята, и сами тоже здесь живем.

Новое московское рыцарство

Эта странная история чуть ли не месяц не сходила с первых полос московских газет. Славный нефтяной барон едва покинул поутру свой замок и выехал за ворота владения, как на первом же повороте был остановлен и грубо извлечен из бронированного и тонированного иномарочного средства передвижения людьми в масках и камуфляже. Но уже через пару недель он был подброшен обратно, прямо к воротам своего замка в целости. Мораль истории такова: только неприступные стены могут гарантировать жизнь нынешнего рыцаря, его домочадцев и челяди.

Но помимо чисто функциональной необходимости жить в крепостях на то есть и психологические резоны, а также существует богатая и давняя эстетическая, прежде всего литературная, традиция.

«Дачная» тема – отнюдь не только тема комфорта или стяжательства. В конце концов даже для «простых советских людей» сарайчик на шести сотках был их замком. Со всей сопутствующей символикой: забор – ограждающее укрепление, отдельность от соседа за счет кустов смородины, и три-четыре яблони или утлая слива, воплощающие, как у Вольтера в последней строке «Кандида», трансцендентное понятие «цель жизни» – «каждый должен возделывать свой сад».

Дача – рай и небесный град отнюдь не только для владельцев полиэтиленовых теплиц и засолыщиков огурцов. Вся русская литература двух прошлых веков была больна «дачной» темой, в то время как на Западе, где жить в своем доме никогда не было экзотикой, «дача» наличествует в искусстве на равных правах с другими архитектурными объектами. Вдохновеннейшим писанием Державина осталась ода «даче», усадьбе, деревне – «Жизнь Званская». Понятия отдельности, самостояния, самости во всегда тоталитарной России под пером вольного литератора неминуемо приобретали почти синонимический оттенок – свободы действий, самостоятельности решений. Действие лучшей русской исторической повести «Капитанская дочка» в основном разворачивается «в замке» – в крепости, затерянной в оренбургских степях, где герои обречены на самостоятельность (до царя далеко). Самая известная пьеса Тургенева – «Месяц в деревне», то есть «на даче».

«После Октября» (как любили обозначать свой триумф большевики), когда социальная анонимность и отдельность индивидуума были попорчены коммунальным бытом с «товарищеским судом» и коллективным производством с «парткомом», «дача», ставшая было перед революцией в интеллигентском сознании символом мещанства, возвращает себе роль классического замка. При Сталине загородные резиденции «отца народов» назывались «ближней» и «дальней» не вилами или усадьбами (или хотя бы «объектами»), но именно – «дачами», уже в явном значении «замок». Дачами – помимо премий и званий – расплачивался Сталин и со своей свитой, будь то писатели или генералы.

До «оттепели», то есть до первой «перестройки», отдельный дом, «дача», были лишь недостижимой мечтой миллионов обитателей коммунального городского жилья, оставаясь доступными лишь номенклатуре и обслуживающим ее интересы слоям, будь то врачи или стукачи. «Садовые товарищества» возникли лишь при Хрущеве, и это был символический жест власти, пытавшейся демократизировать сталинский византизм. Население огромной страны, в большей части неосвоенной, располагающей необъятным резервом пустующих земель, получило от государства жалкие клочки, на которых селилось кучно, но – по отдельности.

Эмблемой периода «реформ» оказалась опять дача. Но символика «дачности» резко изменилась. Дача осталась символом, но теперь уже не индивидуальной свободы, не пространства, неподконтрольного кому бы то ни было, кроме ее хозяина, не только достатка даже, но в первую очередь знаком положения в обществе, принадлежности к элите. То есть к некоему неформализованному рыцарскому обществу.

Нельзя считать случайным, что многие подмосковные особняки построены буквально в виде замков или, скажем, некоего подобия замков, с характерной атрибутикой: бойницами, зубчатыми стенами, готическими башенками, витражами, даже с флюгерами в виде фигурок рыцарей. И превалировало в хозяйском выборе стиля отнюдь не соображение выгоды и стремление к удачному вложению капитала в недвижимость, но рассуждения престижа – по сути дела, символического характера. Важно, что эти самые «замки» строятся не в огражденных поселках нынешней номенклатуры, а чуть ли не посреди деревень. То есть нынче «рыцарями» себя ощущают – и это архитектурно манифестировано – даже не представители формально правящих слоев, но скорее люди, происхождение капиталов которых, мягко скажем, сомнительно. Скажем, едва открылся ресторан на Воробьевых горах, как его полюбила солнцевская братва. Надо ли говорить, что ресторан носит название «Рыцарский клуб».

Для «новых» людей России отнюдь не только «замок» остается статусным владением, ведь нужен еще и титул. Или хотя бы звание, орден на худой конец, хоть членство в «английском клубе», который с тем же успехом мог бы называться «китайским». И что ж осуждать «новых русских рыцарей», будь то бандиты или банкиры, за их невинное, в общем-то, тщеславие. В конце концов они в большинстве своем буквально вышли из «коммуналок», из комсомола, из общежитий, из туристических палаток. Они – «первые» в буквальном, арифметическом смысле. И разве плохо, если эти люди хоть в зрелости, но смогли реализовать свои детские фантазии.

Гименей, на выход

Согласитесь, нельзя же все о чеченцах и о национальной политике, о проблемах всенародной переписи не переписывающегося ни в какую населения, о выборах сразу нескольких губернаторов на одно место, о реформе ЖКХ, о вручении разножанровых премий неизвестно кому. К тому же скоро грянут морозы, а у тебя, мама, нет теплого пальта, как пелось в давнем жалостливом романсе. Так что скрасим себе суровость нашего русского климата, нашей несладкой погоды и поговорим о любви.

Вот например: как демонстрирует нам изо дня в день наше телевидение, никто не может запретить свободной женщине в нашей свободной во многих отношениях до чрезвычайности стране – согрешить. Если ей хочется. Или кому-то – с ней, это неважно.

Мужчинам тоже не может запретить ЭТО никто и никогда. Но, как ни странно, сами они склонны верить в верность своих подруг, почти сознательно рискуя ошибиться.

Есть два полюса сексуальных переживаний, и, как все полюса, в повседневной жизни они едва ли вполне достижимы: связь вполне постоянная и вполне случайная. Первый полюс – ожидание невероятного слияния: в повседневном мире невозможно жить, не разнимая рук, не разъединяя тел и не отводя глаз от глаз. Дело здесь, конечно, не в достижении цели, а в самой дерзновенности попытки. И наградой любовникам в этом случае – острота, балансирование на грани рассудка и заглядывание в бездну. Это – сугубо персонализированный секс: партнеры свято верят во вмешательство высших сил, ибо как бы они без их помощи обрели один другого в этом перенаселенном, полном посторонних соблазнов широком мире.

Обратным полюсом служит анонимность секса, дарящая едва ли не столь же острые любовные переживания (кстати, известная формула «любовь с первого взгляда» не скрывает

ли под эвфемистичной формой именно это стремление – любить, не зная, кого именно?). Само собой разумеется, что речь – не о свальном грехе, а о безымянности конкретного партнера, о любви фигурально и буквально – в темноте, по сути дела, о той же отчаянной попытке невозможной в обычной жизни близости, но попытке, предпринятой как бы с другого конца.

Именно в этой возможности анонимности, неузнанности – сексуальная природа маскарада и карнавала. Недаром же от ритуалов этого рода неотъемлемо понятие «карнавальная свобода», которая длится «одну ночь».

Но – о сути.

Расторжение брака всегда и везде обставлялось большим или меньшим числом юридических формальностей, но никогда не облекалось ни в какой ритуал. На первый взгляд это странно и нарушает симметрию: ведь развод чаще всего – событие не менее судьбоносное, чем свадьба.

Расторжение брака граждан всегда и везде воспринималось обществом как нечто крайне нежелательное, а подчас и преступное – вплоть до полного запрета разводов. Кое-где этот процесс обставлялся невиданными трудностями – скажем, в Италии лет тридцать назад: кто постарше, помнят все перипетии ленты с Мастроянни и Лорен. И только в советской России с исчезновением церковного брака (он не признавался действительным без записи об этом «акте гражданского состояния», отсюда и замена термина «жениться» на «расписаться») уже в 20-е годы для развода требовалось лишь полюбовное согласие сторон. И здесь я сослался бы на самых любимых согражданами авторов: Ильфа и Петрова, Зощенко...

На раннем этапе большевизации страны брак третировался как «пережиток», ведь теоретиков «свободной любви» и критиков «буржуазной семьи» среди коммунистов всегда было хоть отбавляй. Кроме того, большевики, в согласии с теорией Маркса, во всем стремились к упрощению, и с чего бы им противиться распаду семьи, заведомо более сложной системы, нежели отдельно взятый гражданин или гражданка, – короче протокол допроса. Семья как микрокосм менее прозрачна, более автономна, чем отдельный человек, жизнь в семье сложнее поддается государственной регламентации, чем быт одиночки.

Начиная с 30-х годов Сталин спохватился, озаботился демографической политикой, в разные годы запрещал аборт, вводил в школах раздельное обучение, изгнал дух эротики из произведений соцреализма – и обязал партийных аппаратчиков блюсти супружескую верность. Институт «прописки», придуманный в середине 30-х, способствовал не только оседлости населения, но – в условиях коммунального быта – и прочности брачных уз. Но число разводов росло пропорционально жилищному строительству. Рождаемость падала.

Сегодняшнюю ситуацию многие демографы характеризуют как критическую. Но общее отношение в обществе к браку стало в последние годы более консервативным. Легкомыслие шестидесятников, приравнивавших нарушение брачных уз и табу к политической фронде – в пику государству, в пику партийному курированию этой сферы, – сменилось взвешенным отношением у следующих поколений. Сегодня браки заключаются не из одних лишь романтических поползновений, но и по здравому расчету. Развод опять воспринимается не как вольное приключение, сопряженное с такими приятными вещами, как возвращение сексуальной свободы и сбрасывание «цепей», но как проигрыш при построении жизни, крах надежд и планов. Наконец, изменение положения женщин и значительно большая их экономическая самостоятельность, а значит – возможность свободного выбора, безусловно, укрепляют семью, а вовсе не наоборот, как казалось некогда критикам феминизма.

О вечном возвращении

Вернулись торжественные вечера по разным поводам, с привлечением все тех же неистребимых, как наш русский климат, Кобзона с Пугачевой и Лещенко. Поет

тот же ансамбль Александрова. Так же, как прежде, эти торжественные «мероприятия» транслируют одновременно по основным каналам. В зале Дворца съездов заметны честные простые лица то метростроевцев, то вагоновожатых. Может быть, скоро вернутся и сами съезды.

Само существование профессиональных праздников – хороший пропагандистский ход. Люди трудных профессий, которым такие праздники посвящаются, находят в них скорее всего психологическую компенсацию. Я говорю лишь о стиле. Точнее, о возрождении стиля, казалось бы, давно похороненного.

Президент торжественно вернул на главный стяг нашей армии пятиконечную звезду. Сославшись при этом на то, что все равно те же пятиконечные сияют над Кремлем и светятся на погонах военных. Так что, мол, чего уж там. А военные хотят. Давайте в таком случае поместим на стяг изображение кирзового сапога. Сапоги тоже носят и военные, и милиционеры. Или залудим автомат Калашникова в профиль.

Во внешней политике тоже многое возвращается на круги своя. На международных саммитах теперь у отечественных дипломатов те же нотки, столь полюбившиеся советской дипломатии со времен Хрущева с его башмаком. И растет глухая подозрительность к Западу. Как, впрочем, и у Запада к нам. Кстати, сходные процессы реставрации и движения вспять идут и за океаном: чего стоит одно лишь создание в США единого гигантского силового ведомства.

Заметная в прессе и на сцене инстинктивная тяга к прошлому – симптом реакции. То и дело опять стали с восторгом поминаться окутанные мифами победы: на поле Куликовом устраивают костюмированные праздники, Бородино воссоздают чуть не в натуральном объеме. Вика Цыганова поет: «К нам прилетел двуглавый наш орел, настал тот день, которого так ждали». Это вечером по Первому каналу ТВ. А ведь еще несколько лет назад с таким репертуаром ее не пустили бы дальше сцены областного Дома офицеров.

Оно конечно, есть и обнадеживающие нотки. Скажем, президент недавно отклонил поползновения Думы окоротить журналистов и ограничить свободы прессы. Но, будьте уверены, это горячее желание придушить прессу не покинет чуткие и мятущиеся сердца депутатов. И, так или иначе, под шумок цензура вернется.

Но вернемся к теме изменения стиля. Не замечали – изменилась походка людей на улицах? И поведение пассажиров в переполненном транспорте. Исчезает презумпция вежливости, а ведь был краткий промежуток, и не так давно, когда даже у остававшихся тогда еще государственными продавцов поубавилось хамства... Начальство стало грубее, подчиненные – пугливее: безработица. Обувь хуже чистят. Вонючее сделались общественные туалеты, неряшливее обслуга, тусклее улицы, грязнее дворы, криминальнее вокзалы, несноснее милиционеры, длиннее зима.

Газеты печатают пространные интервью с дикторами эпохи застоя, на радио оживают прежние интонации, с какими, многие помнят, некогда велись репортажи с парадов на Красной площади. Интонации эти не просто реликт, и, скажем, на Радио России их перенимают вполне молодые голоса: «Ширится на полях...»

На телеэкране много страха. Истерики. Склоки и ругани. Мордобоя и убийств. Очень мало сдержанности и ума. Остроумие – петросьяновщина. Бесконечные ток-шоу на ТВ производят удручающее впечатление: от Комиссарова до Гордона. Хотя и по разным причинам.

На растяжке поперек Садового читаем: «Мы любим Россию». Кто «мы»? Мэрия? Водители авто? Проститутки, которыми торгуют тут же? А если я не люблю? Попробуй скажи это вслух нынче-то. Даже срамно и повторять, что любовь к родине чувство интимное, как правило, двойственное, и в демократической стране не может быть принудительным, как роман «Мать» в советской школе. Можно ли представить на Елисейских полях лозунг «Мы любим Францию»?

Из самого стиля повседневного бытия уходят оттенки и нюансы. На глазах жухнут краски. Легкость заменяется помпезностью, дворянское гнездо – сибирской цирюльней, ажурность линий – плоскостями стен. И это никак не следствие одной лишь бедности: нищета где-нибудь в Калькутте живописна и пестра, в Подмоскovie – удручающая и страшновата.

Отчетливо слышна поступь победно возвращающегося стиля тотальной усредненности и принудительной глупости. Испаряется дух свободной игры – вместо него стихия склоки и скандала. Так и не сложившееся общественное мнение снова подменилось доносом.

«Новая» Россия не обрела нового стиля. Ей нечего противопоставить былому мощному сталинскому ампиру. И даже слабосильной брежневской эклектике. Это видно во всем – от архитектуры до литературы. Быть может, только журналистика – не надо уличать меня в профессиональном нарциссизме – в лучших газетах ельцинского времени дала более или менее оригинальные образцы стиля. Но и это, кажется, уже в прошлом.

Бесстилье эпохи говорит о ее бессодержательности. Об отсутствии новых идей. И провоцирует опереться на готовые, взятые хоть из вчера, образцы.

Мы идем назад. Туда, где уже были. Еще не в смысле политического устройства, но уже в стиле жизни. Стил – сжатая пружина, и для того, чтобы держать ее в этом состоянии, необходимо постоянное усилие. Похоже, после краткого рывка сил у нас не хватило.

Заповедник писателей

Нет ничего лучше для истинно творческого человека, чем лежать на переделкинском кладбище, – все на тебя смотрят. Да и местность удачная: станция электрички, дача Патриарха, святой колодец, музей Окуджавы, трава забвения, три сосны, удобно. Опять же – магазин рядом. Мне однажды администрация поселка предлагала там полежать. Всего за 1500 у. е. Я отказался: мол, рановато еще, не созрел, не в том возрасте. Теперь жалею. Лежал бы себе под шелест листвы, а так приходится зарабатывать на хлеб в поте лица. Да и цены на лежание с тех пор, поди, скакнули.

Но главное, главное все-таки не погост – писательские дачи. Там вон жил Лермонтов, там Тургенев бродил с ружьишком, ближе к лесу – критик Наталья Иванова...

Оно конечно, талантов здесь не счесть. Награждает же некоторых Бог, – но и местность хороша, дышится. Хотя Переделкино нынче уж и не вполне загород. Просыпаешься, бывало, в номере Дома творчества, глянешь в окно, батюшки, сквозь сосны светят новостройки. Все, думаешь, сегодня ни грамма. А присмотреться, так это новый район из бетонных коробок, так романтически и называющийся – Новопеределкино, пригород, так сказать, города Солнцева. Переделкино, кто не знает, совсем близко от столицы, в Одинцовском районе.

Сам районный центр Одинцово – довольно грустное местечко: какие-то заводишки, гаражи и склады, неопрятные окраины и грязноватый рыночек, черный дым из высокой трубы. Но зато вокруг. Самые престижные, самые элитные дачные местечки: Жуковка, Николина Гора, Баковка. И Переделкино. А кроме того, несчетное количество краснокирпичных, как один, разлапистых, смутной архитектуры, зачастую недостроенных и глядящих пустыми глазами окрест дворцов, разбросанных и здесь и там. Потому что не иметь в Одинцовском районе загородного пристанища для приличного человека нынче как-то даже и гражданской смерти подобно.

Город, как сказано, уже обтекает эти благословенные места, но, кажется, есть решение сохранить их как заповедную зону. А значит, сохранить и обитателей ее, на манер зубробизонов на Оке. Идет седой такой русскоязычный письменник с посохом и с биркой на ноге.

Однако тех, кто, прочтя эти строки, уже собирается в Переделкино приобретать недвижимость, предупреждаем: здесь довольно шумно. Причем это вовсе не умиротворяющий щебет птиц. Ладно, что вблизи поселка шныряют поезда. Но над поселком к тому же с диким ревом то и дело пролетают самолеты, норовя приземлиться в близком Внукове. По этому поводу один мой знакомый сочинитель-фрондер заметил: как было бы чудно, коли бы во всех книжках, выходящих из-под пера здешних авторов-постояльцев, время от времени появлялась ремарка: «пролетел самолет».

При всем при том цены на землю здесь рекордные. А ведь ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых в Переделкине на сегодня не обнаружено. Чахлый замусоренный лесок, обрамляющий поселок, не представляет ценности с точки зрения промышленных заготовок древесины. И все-таки в ряде случаев цена доходит до 10 тыс. у. е. за сотку. А сколько соток в могилке для относительно нестарого мужчины роста сто восемьдесят два? А вы говорите.

Ну что еще? Вот вам гроза местных дворян, лохматый чау-чау, помнивший Бориса Леонидовича, вот вам кирпичные постройки казенного вида по другую сторону поля – партийная богадельня, именно сюда пришел к своей жене-комиссарше персонаж катаевского рассказа «Фиалка», рекомендованного школьникам «для внеклассного чтения». А вот – дача-музей Корнея Чуковского, на которой некогда в разное время квартировали Анна Ахматова, Бибигон, Солженицын и индюк Брундуляк. Для недогадливых поясним: все эти дачи принадлежат общеписательской организации Литфонд, созданной некогда еще графом Л.Толстым для помощи неимущим российским литераторам.

Но нынче Переделкино – форменные дебри, населенные диковинно. Скажем, такая забавность: район построенных первыми, так называемых «секретарских» дач пересекают улицы, названные именами раннесоветских классиков: Вишневского, Павленко, Серафимовича. Здесь до самого последнего времени кучно обитали исключительно писатели, и первой ласточкой, нарушившей традицию, была новостройка, выросшая как из-под земли рядом с бывшей катаевской дачей, возведенная автором и хозяином популярной телепередачи «Что? Где? Когда?». Как так получилось, решительно никто в Переделкине объяснить не в состоянии. Но едва обрывается улица Серафимовича, как от нее веером расходятся Горького, Гоголя, а там и Лермонтова. Имена не должны вводить в заблуждение. Здесь стоят преимущественно частные дачи, причем уже не только писательские. На обледенелых в колдобинах, с глубокими опасными канавами по бокам узеньких улочках вам то и дело встречаются «Волги» с мигалками и зашторенными окнами, «Мерседесы» уже новых владельцев дач, от которых шарахаются и жмутся к обочинам встречные писательские «Жигули». Здесь район глухих заборов и мрачных охранников у ворот. Но в целом жизнь в Переделкине тихая и мирная. Здесь варят варенье, растят внуков, чинят автомобили, красят балясины веранд, а кое-кто даже разводит цветы. Пишут иногда, скажем, прозу. И умирают. И отправляются именно туда, откуда мы начали. Ну, лежишь себе, слышишь – подходят.

- А кто это здесь лежит?
 - Да вот, написано, писатель и драматург.
 - Не слышал про такого.
- И так тебе, лежащему, станет обидно.

Дни волнения и упокоения

У нас есть странное пристрастие к Датам. Понятно, что мы отмечаем даты смерти близких людей или дату собственного рождения. Но вот почему-то по общенациональному каналу нам показывают концерт, посвященный Дню шахтера. Я, помнится, однажды был в шахте, температура в этих штреках была около 50 градусов выше нуля. Но чтобы перейти из одного помещения шахты в другое, надо

было пересечь небольшое, но уличное пространство. Там была температура минус 50. Люди от этих манипуляций почти все умирали к сорока годам...

С точки зрения обычного либерального сознания, само по себе словосочетание «День шахтера» выглядит глуповато. В юности я был ерником и иронистом и всегда издевался над всяческими Днями рыбака или чекиста, но теперь, несколько возмужав, отчетливо понимаю, что, таким способом чествуя шахтеров в их День, мы отдаем им должное. Должное в прямом, этимологическом значении этого слова.

Конечно, несколько обидно, что правительство не назначило День писателя. Я в светлых грезах представляю себе ритуальные действия, которыми мог бы быть обставлен этот день. Масса сочинителей и сочинительниц, держа под мышкой свои пишущие машинки или компьютеры, стройно проходят по улице Максима Горького, несправедливо переименованной. Население машет им флажками. Фантазия отказывается подсказать, какую песню они поют хором. Знаю только одно – это не должен быть Марш энтузиастов, по той простой причине, что я видел литераторов-энтузиастов. Не буду комментировать эти впечатления.

Зато у нас есть День поэта. Мне всегда представлялось это чудовищной несправедливостью. Почему нет Дня прозаика? Покойный Юрий Лотман, помнится, где-то писал, что поэзия – варварский жанр. Она предшествовала прозе, которая требует более высокой интеллектуальной организации.

Но вернемся к датам. Разумеется, для каждого сознательного гражданина важнее всего дата издания Конституции. Правда, Конституции очень часто меняются. Ни один гражданин, конечно, в глаза их не видел, но знает, что если он живет при определенном правителе, то по имени правителя и названа Конституция. Что неплохо. Не в США живем. Это у них там, у порочных белых протестантов, как дал им Конституцию, скажем, Линкольн, так они и не меняют ее третье столетие. У нас, естественно, все не так. Сами подумайте, если нация собирается повернуть все свои реки в обратную сторону, на что ей одна и та же Конституция?! Уж что-что, а Конституцию мы точно повернем. Но это к слову.

Кстати сказать, почему-то считается, что в России праздников больше, чем в других странах мира. Это глубокое заблуждение. Праздновать и соответственно не работать любят повсеместно. Что, собственно говоря, прекрасно. Создание национального продукта должно компенсироваться его употреблением.

Хорошо всенародно отмечать дату выхода какого-нибудь художественного кинофильма. С ним, конечно, есть одна проблема: дата выхода куда? Можно отмечать начало съемок, дату проявления пленки, дату завершения монтажа, наконец, самую торжественную дату – окончательного смыва изображения по приказанию начальства. Тем не менее кинематографисты с энтузиазмом и банкетом отмечают эту несколько призрачную дату – дату создания фильма. Поверьте мне, сам закусывал.

Проще с другими видами искусств. Например, хороша театральная премьера. Здесь меньше люфт. Конечно, можно ее день отнести на генеральную репетицию, а можно на начало продаж билетов в кассе. Но, в общем, коридор сужается.

Хорошо живописцам: развеска – вернисаж – банкет. Оно, конечно, им не позавидуешь, когда они в грязном фартуке с кистью в руке и в ядовитом запахе растворителя, но зато потом – какой парад. Но сочинителю хуже всего. Вот представьте себе унылого беднягу, который пару лет сочинял свой роман, а теперь издательство вежливо попросило его забрать нераспроданные книжки со склада.

Он складировал их в собственной прихожей – о них спотыкаются дети, тактичная жена каждое утро смотрит на этот хлам и одними глазами говорит ему: ты полный неудачник. Автор, естественно, начинает нервничать. И в своей авторской невинности думать, не сочинить ли ему что-нибудь еще.

Не понимает, что жизненных метров еще на одну порцию книг ему не хватит.
Но мы о датах.

А лучшая дата – это дата твоей смерти. Сколько раз ты представлял, как будут по твоему уходу плакать подруги и мужественно крепиться друзья. Опять-таки, накопилась какая-то собственность, ее, конечно, расхватают родственники. Скупое, мелким шрифтом, какая-нибудь местная газета напишет о предстоящем ритуале. Унылая картина. Так вот, друзья, сознаемся друг другу, что мы на самом деле – бессмертны! И пусть никто не надеется. Мы будем жить всегда, и дружно. Не исключено, что мы завоюем новых поклонников, мы будем любить своих собак и женщин и даже, как это ни отвратительно, налив рюмку, будем смотреть телевизор, и никто не посягнет на нашу честь, достоинство и халат.

Я повторяюсь, но даты необходимы нам. Причем не только личные. Советское государство отнюдь не было глупым. Оно, конечно, было тоталитарным и не позволяло людям самим выбирать даты – оно их дарило. Не говоря уж о том, что многие-многие даты у нашего народа оказались украдены. Трудно сказать, можно ли это восстановить. Но пример других наций должен нас воодушевить. Уверяю вас, многие американцы с трудом могут вспомнить, кто такой был Авраам Линкольн. Но что такое День Благодарения – знают все. День, когда первые пилигримы на корабле «Мэйфлауэр» приплыли к американскому берегу. Давайте поднимем рюмки за то, чтобы и мы приплыли к своему.

2003

Твидовый пиджак, трусы и галстук

В Вашингтоне я работал в Кеннановском институте. Это Институт русских исследований, некогда основанный Джорджем Кеннаном. В течение нескольких лет он был послом США в России, по слухам, отлично говорил по-русски и, вернувшись на родину, организовал институт, который позднее получил его имя. Этот институт осуществлял в свое время широкую поддержку русских талантов. Ныне он вернулся на стезю сугубо академическую, но мне удалось застать то время, когда там привечали российских литераторов: Аксенова, Вознесенского, Войновича, Наймана. Мышью проскочил туда и я.

Директором Кеннановского института был очень симпатичный господин. Когда я познакомился с его женой, я понял, насколько это типичная семья англосаксонских протестантов. Их двое детей учились в престижнейшем колледже, а сами они не пили, не курили, бегали трусцой и по воскресеньям посещали церковь. Главу семьи я видел в нашем институте ежедневно, и было бы немыслимо, если бы он появился там без галстука. Сам я, конечно, пользуясь статусом русского литератора, приходил на работу в джинсовом костюме, тайком курил в своем офисе (что было категорически запрещено пожарными нормами), флиртовал с секретаршей, которой полагалось по ее статусу быть у меня в офисе пятнадцать часов в неделю. Делать ей, разумеется, было абсолютно нечего. Она приносила мне книги из Библиотеки конгресса, на что я имел право, и однажды отрепетировала со мной мой английский спич, который я обязан был произнести перед коллегами. Учитывая мой кошмарный английский, можно сказать, что это был немалый подвиг.

Но вернемся к пиджаку. Мне подарила его на Рождество много лет назад моя американская приятельница. По тем временам для простого московского плебоя это был ошеломляющий подарок. Я не очень разбираюсь в вещах, но мой приятель, художник Толя Брусиловский, застав меня в этом пиджаке на приеме в американском посольстве, подошел, пощупал ткань и произнес с большим уважением: «Дэвид Хантер». Я потом изучил лейбл – это действительно был «Дэвид Хантер». И к Толе я стал относиться с еще большим уважением.

Я не могу сказать, что я вырос в бараке, мой отец был простой русский профессор, причем Московского университета. Но до этого предмета, о котором идет речь, приличного пиджака у меня никогда не было. Здесь впору задуматься о том, нужен ли вообще русскому интеллигенту пиджак. Ведь, безусловно, работая над высоким, не посещая приемов и не являясь членом клубов, он может прожить и в свитере. Поэтому пиджак – это некая форма перехода из одной социальной прослойки в другую.

Поверьте мне: в отличие от андерсеновских калош пиджак не приносит счастья. Он всего лишь вас дезориентирует: именно вас, а не окружающих. Вы теряете то, что теперь называется самоидентификация.

Иногда, с трудом ведя светскую жизнь, я невольно опускаю глаза на обувь и штаны своих товарищей по полу. Не могу сказать, что во многих случаях это приятное зрелище. Но я готов простить нечищенные ботинки и неглаженные брюки за хороший элегантный пиджак.

Я понимаю, что занудствую. В конце концов мы, русские, понимаем, что дело в душе. А пиджак – это у них, в английском клубе. И тем не менее я продолжаю повторять: пиджак, пиджак. Быть может, мои впечатления связаны с тем, что я смотрю на некоторых своих това-

рищей, которые знают вкус в пиджаках, и понимаю, что эта часть одежды, будучи правильно выбранной, делает их мужественными.

Нельзя обойти тему женских пиджаков. Я уже так немолод, что помню время, когда мои девочки пиджаков не носили. У них переход к пиджакам прошел для меня почти незаметно. Просто однажды я проснулся, и вместо прозрачного блузона, сквозь который просвечивал черный бюстгальтер, они уже оказались в пиджаке.

Бог знает, хорошо это или плохо. Ведь в дополнение к этому они оказались еще и в штанах. А для мужчины штаны на женщине – наименее удобный вид одежды. Но штаны требуют пиджака. Так что все встало на свои места. Причем я понимаю женщин: одевшись в пиджак, они стали иметь много карманов. Практически не нужна стала сумочка: помада в правом кармане, парик – в левом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.